

Никита КОРОЛЁВ

НА КРОМКЕ СНА

роман

СОДЕРЖИТ

НЕЦЕНЗУРНУЮ

БРАНЬ

18+

Никита Королёв

На кромке сна

«ЛитРес: Самиздат»

2020

Королёв Н.

На кромке сна / Н. Королёв — «ЛитРес: Самиздат», 2020

Пантелеймон Артамонович Вымпелов — успешный писатель и музыкант... или он — разработчик в крупнейшей IT-компании страны? А так ли это важно, когда ты на кромке сна, а всё вокруг — лишь танец теней на стенах городского лабиринта? Так ли это важно, если ни тот, ни другой так и не нашёл заветного счастья? Перебирая осколки детских воспоминаний, путаясь в переплетениях фантазии и реальности, Паня пытается найти упущенный виток своей жизненной истории и, наконец, понять, кого же он видит по утрам в зеркале. Входит в состав сборника "Дом презрения". Содержит нецензурную брань.

Содержание

Паника	6
Панегирик	23
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Никита Королёв

На кромке сна

*“Is this the real life?
Is this just fantasy?”*

С.А. Есенин

Настоящая повесть о человеке по имени Пантелеймон Вымпелов была найдена на берегу Химкинского водохранилища. Она лежала, прижатая камнем, на дощатом помосте на территории пляжа в Тушинском парке. Ввиду того, что Служба по поимке и распределению девиантных личностей (т.н. «Дом презрения») с недавних пор прекратила свое существование, а крупные издательства находкой не заинтересовались, после окончания следственного процесса найденный текст перешел в руки энтузиастов. В этой связи, и без того избыточный несовершенствами, он претерпел значительные искажения (в частности, был утерян первоначальный порядок глав), с коими распространялся по малоизвестным тематическим сайтам.

Авторы данного издания предприняли первую организованную попытку отреставрировать приведенный ниже литературный массив и познакомить с ним более широкий круг читателей. Должны отметить, что его художественность сомнительна – свидетельства опрошенных указывают на исключительную схожесть лирического героя и биографического автора. Однако осмелимся предположить, что сия пространная исповедь, перемежаемая ретроспективными вставками (что составляют значительную часть повествования, приближаясь к половине его общего объема), может быть интересна с точки зрения криминальной психологии и психоанализа.

Произведение публикуется с согласия ближайших родственников автора – сам Пантелеймон Артамонович Вымпелов, разыскиваемый за угон катера с пристани яхт-клуба «Shore House», с декабря прошлого года считается без вести пропавшим.

Паника

Одним из первых воспоминаний Пани был длинный шрам на отцовском бедре. Белесый рельс, пересеченный шпалами затянувшихся швов. Паня, как его ласково называла бабушка, произнося это удуманное ей же для внука имя с какой-то зернисто-злаковой ноткой в голосе, с молчаливым любопытством пускал поезда пальцев по этому рельсу, когда они с папой вечерами лежали на диване и смотрели MTV, который тогда, в начале нулевых, был уже не таким музыкальным, но еще не таким дерьмовым. Ворсистость овечьего меха на необъятном диване, делившемся на отдельные области, строгий запах отцовской комнаты, где нет места шалостям, и папина пижама с морскими узлами и якорями. «Это моя профессиональная травма, у каждого они есть» – сказал папа в один из таких вечеров, опережая назревавший вопрос сына. Профессиональная травма. Немногословно, однако это словосочетание отвечало на все Панины «где?», «как?» и «почему?», потому что Пани тут же грезился во всей тусклости его красок облезлый полутемный цех, который рано или поздно обязательно больно укусит тебя.

Профессиональные травмы. Маленький Паня теперь был твердо убежден, что они есть у каждого, кто всецело отдает себя служению цели, кто добросовестно выполняет свою работу. Папа не говорил этого напрямую, по разумению Пани, как бы доверяя ему самому сделать соответствующие выводы.

Как-то они стояли на выезде из отцовской ракушки в темном дворе. Фары по ровному, почти осязаемому контуру высвечивали пригаражную округу. Глядя в этот световой коридор, в котором вились серебряные пылинки, на бледно-желтый грунт вперемешку с пыльной землей, Паня представлял, что они сидят в луноходе, а за стеклами – сыпучая чернота темной стороны. Папа рассказывал о профессиональных травмах его друзей: о сломанной руке лысого Леша, о раздробленном пальце тонкого темноволосого Паши, который, сколько Паня его ни встречал, всегда был в камуфляжной футболке. Паня, когда впоследствии они с папой приезжали к этим друзьям в гости, не осмеливался спрашивать об их шрамах, проникнувшись состраданием и уважением к той жертве, о которой они скромно молчат. Но где-то под дверью Паниного ума, пока еще только проказливым котенком, заскреблась мысль о том, что и ему когда-то придется мужественно приспускать рукав или оттягивать штанину, чтобы скрыть следы преданности своему делу. В те немногочисленные дни и вечера, когда папа брал Паню с собой, они бороздили космос микрорайонов, Марьино-Химкинские созвездия и те окраинные, похожие одна на другую панельные туманности, которые Паня так и не смог распознать на карте, когда спустя годы захотел пройти по уже порядком жмущим, детским следам. Здесь они с папой гостили у друзей, но о большинстве таких визитов свидетельствуют лишь клочки смазанных фотографий и криво обрезанной пленки из раздела «на память», хранящиеся именно там, где и должно – в памяти у Пани.

Есть какая-то отцовская подруга Юля, которую Пани довелось увидеть только раз. Блондинка с каре и большими золотыми кольцами в ушах, в белых бриджах и майке на бретельках. Глаза, сверкающие размеренной страстью к изыску. В кино, в вине, в сексе. Если она и продавалась, то очень недешево – надбавка за те умственные и чувственные тяжести, которые она тягала, чтобы не быть простушкой на одну ночь. Это подтверждали ее компактная и угловатая, в духе стерильно-симметричного модерна, квартира и белая, с пепельными прядками, пушистая кошка, сверкающая опаловыми глазами из темноты диванного зева. Однако носители профессиональных шрамов вспыхивают совсем иной цветовой гаммой, возникая перед мысленным взором вспоминающего Пани.

Леша. Женат на Анюте. Почему ее все звали именно Анютой, Паня не знал. Но он также и не знал, почему отец звал его Понтием или Понтюшей, и выяснилось это многим позже.

Однажды, когда они уезжали со двора того дома, где жили Леша с Анютой, папа сказал, что она беременна и скоро у них родится ребенок. Тогда Панино воображение впервые подшутило над ним, поставив второпях сцену зачатия, отчего Паня брезгливо передернул плечами и укорил себя за то, что взрослые называли развратностью.

Паша. У него был кот породы сфинкс. Не злой, но какой-то вечно то ли раздраженный, то ли болезненный, то ли все вместе. Паша подсадил папу на «Сталкера». «Тени Чернобыля», «Чистое небо». Ржавые шкафчики с перекошенными дверьми, степные просторы, отливавшие медью, небо цвета размокшей бумаги и стеклянные стрелы дождевых капель. Папа играл на ноутбуке. Когда из-за угла выпрыгивали кошунственные твари, щеря гнилые зубы и щеголяя лоскутами бурой плоти, Паня прыгал с дивана и отсиживался за его углом. К Паше папа заезжал с Паней чисто по сталкерским делам: перекинуть дополнение, получить локацию нычки или разузнать пару хитростей по прохождению. Паша с его пристрастием к играм стал натурой, с которой сознание Пани срисовало свой первый Эльдorado – лучащейся золотом, бескрайний и чарующий мир, которого никогда и нигде не существовало, но вместе с тем указатели, ведущие к нему, можно встретить почти всегда и везде. Эльдorado существует только в намеках и лукавых улыбках взрослых, он построен на последнем облаке на горизонте и выглядывает из-за первого ряда густого леса. Есть загадочные смотрители, знающие как туда пройти, но даже на это знание они могут только намекнуть. Как и на то, куда уходит детство. Засушенное, лишенное нервных окончаний, забальзамированное ностальгией и заложенное под стекло фоторамки. Детство, которого, в сущности, никогда не было, а была лишь эта улица Бумажная в городе Эльдorado, штат Неверлэнд, пока и ее не заменяет желтая мерцающая вывеска другого «Эльдorado», где смотрители – это уже консультанты и продавцы. И все же отголоски детских чувств нетленны, мысли, утончившиеся и едва различимые, будто тени на закате, исключительны, а фантазии – прекрасны, как первые цветы. Детство неприкасаемо. Но именно в том значении, в каком это применимо к застекленным молниям в шаре Теслы.

Детство. Оттуда, в закопченных на дыму времени конвертах, прилетают снимки с белыми бороздками сгибов и надорванными краями. Комната. Иногда она была завалена игрушками, иногда – аккуратно ими уложена, но всегда игрушки оставались холодными, а их глаза выражали лишь извечную готовность безропотно подчиниться воле детских рук. И только в остывающем хаосе, когда с Паниного лица сходила краска, а потные волосы засыхали иголками, казалось, что игрушки хоть на момент (прошедший, правда, когда Паня, видимо, моргнул или отвернулся), но жили своей жизнью и даже что-то думали о приключавшихся с ними полетах. За эти мгновения, на которые указывал разве что послевоенный штиль, царивший в комнате, Паня готов был терпеть и другую краску – на его ягодицах. Ну, и лишними часами на принудительное возвращение войск к исходным позициям.

За окном детская площадка, чье ржаво-скрипящее нутро так и перло из-под пестрой краски, встретившей новый миллениум уже в эпилептическом пузырении. Чуть дальше – кубик трансформаторной будки. Кто-то хотел нарисовать на нем радугу, но на изразцовом холсте, над двумя черными решетками вентиляции, вышла перевернутая улыбка. Дворовый простор замыкала целая башенка из таких кубиков, длинная, с темно-красной макушкой над последними окнами, похожая на те, что ребята зачем-то строили в садике. Глядя на нее тогда, Паня совершенно не всматривался в ее цвет (кроме, конечно, макушки) и фактуру. Только со временем, когда детство уже упорхнуло на крылатых качелях туда, где каждый день кино, он понял, что и на то, и на другое был только задел, как у рассады на подоконнике, на которую коварный майский мороз надышал настоящим перегаром. Цвет нераскрывшихся бутонов, текстура пожухших початков. Текстура и цвет не наступившего будущего.

Кстати о рассаде. Папа ее не любил. В особенности ту, которая, притворяясь пакетом из-под сока или молока, укрывалась бабушкой за занавесками в его комнате. Такая рассада

отправлялась в одноконечный полет с балкона под бабушкины мольбы отменить рейс. Но да ладно про рассаду.

Паня догадывался о смысле той сакральной геометрии, что пронизывала весь открытый его взору пейзаж, еще когда он и слов-то таких не знал. У этих улиц был голос, и он с материнской нежностью напевал о том, что нет ничего великого, не имевшего бы в своей основе маленькое и даже мелкое, что все сложное всегда сложено из кубиков, таких простых и понятных, а все, что нужно для постижения их комбинаций, – это внимательно смотреть на руки воспитателя и ничего не упустить. Но эти руки оказались шарлатанскими лапками, с ловкостью фокусника вынужденными из сложного один буквенный кубик, так что оно вдруг стало ложным, а тот нежный материнский напев из прекрасного далека становился с каждым годом все заунывнее и хриплее, пока не оказалось, что он доносится из магнитолы развалюшного такси, несущего Паню с пьяной мамой с очередной гулянки пустыми печатниковскими улицами сквозь седую ночь, которой единственно можно доверять.

Все началось в то злополучное утро четверга. В такое же злополучное, как и у всех тех, кого вечность, несмотря на их многочисленные зарифмованные и/или мелодичные увещевания, по каким-то причинам содержать отказалась – с щеткой в одной руке и потоком водопроводной воды, греющим другую.

Почистив зубы, Паня, как и всегда, разглядывал свое отражение во всех пористо-щетиновых подробностях, которые высвечивала матовая лампочка над зеркалом. Утренний осмотр лица носил сугубо утилитарный характер: подавить гнойнички над бровями, выловить пару перхотных хлопьев из челки, закатить на переносицу глазную слизь, которая, скатавшись к концу дистанции в комок, приятно пощекочет кожу. Маленькие радости. За завтраком Паня тоже вылавливает хлопья, которые отлынивают от ложки, формируя в тарелке созвездия, за чтением которых любой звездочет умер бы со скуки. И весь последующий день Паня в каких-то смутных ожиданиях так же, как перед зеркалом, закатывает слизь на возвышенность, и та к концу дистанции тоже каменеет, награждая Паню щекоткой радости, но уже к следующему утру она по воле злых богов вновь оказывается у подножия. Маленькие неприятности. Но в это утро Панин взгляд слишком загулялся и неприятности стали большими. Он остановился на едва разлепленных глазах, двигаясь от зрачка к зрачку и обратно, как холодный стетоскоп – по худенькой грудке ребенка. Шея вытянулась, голова оказалась в какой-то нелепой близости с зеркалом, а веки сбросили сонную тяжесть и распахнулись. Все, что было на периферии, плавно потемнело и зашлось рябью, как соседние сидения и ковровые стены в кинозале, когда перед началом фильма потухает свет. Темнота сгущалась приливами, но стоило Панине обратить на нее взгляд или хотя бы внимание, как она тут же рассеивалась. Приливы и отливы под Луной глаз с серо-зеленым диском. Да, у этой Луны есть диск. Но где сама Луна? Может, ее затмила какая-то планета? Но какая? Или ее украли? Но кто? Гарри Гудини или Дэвид Блейн?

Паня долго – слишком долго – вглядывался в отражение собственных глаз, пытаясь понять смысл того, что он видит. Все было настолько очевидно, что Панин ум просто не мог работать на таких низких оборотах. Что он видит в черноте своего зрачка? Разгадка проплыла в туманной безмолвной воде Паниных мыслей, высунув один только плавник. Но когда взгляд его метнулся в сторону и туман рассеялся, целый кусок плоти и мышц, который Паня называл своим лицом, уже мертво висел, отслоившись от того, что Паня называл собой. Из зеркала смотрел незнакомец, но не тот, который дарит эскимо, а скорее тот, который предлагает сесть к нему в покоцанный фургончик. Паня медленно, как над кнопкой «Отправить» под заполненным резюме, занес палец над бровью и сильно надавил. В списке дел уже провисала стрижка ногтей, так что лицо без осложнений прижилось, и все вернулось на круги своя. Паня вышел из ванной и проследовал в свою комнату.

Но, проходя мимо кабельной установки под телевизором, показывающей время, за мгновение перед тем, как его увидеть, Паня испытал то гнусное, укальвающее холодом предчувствие и замирание всего внутри, когда нельзя уже увернуться от удара, а можно только его дожидаться. На работу он обычно выходил в девять тридцать. Полчаса на дорогу, полчаса на расстановку войск (переодевание, приветствия, кофе), в десять тридцать планерка, в три обед, в семь – конец. На часах было десять тридцать.

Вещи – розовую гавайскую рубашку в цветочек, приталенные коротенькие брючки, говорящие пестрые носки – Паня срывал со спинки кресла, как перепивший зять, пытавшийся повернуть фокус со скатертью – с кряхтением и грохотом.

Паня вбежал в офис, поднялся на этаж и, поправ расстановку, – в куртке и без кофе, – ринулся к своему рабочему месту.

За ним кто-то сидел.

– Слушай... извини... вообще я... – Паня, держась за спинку занятого кресла, огляделся по сторонам. – Вообще я здесь обычно сижу, – и натужно улыбнулся.

Маленький темноволосый паренек в высоких конверсах, подвернутых джинсах и болотного цвета футболке, сидевший за компьютером, короткими дробями щелкал по клавишам. Его тонкая рука потянулась к краю стола, и за ней последовал Панин пульсирующий взор. Там лежала бумажка, смутно ему знакомая. Паренек повернулся вполоборота, когда Паня уже тянул руку, чтобы легонько постучать ему по плечу.

– Я тут новенький и как бы это... меня сюда посадили, – паренек провел пальцем под номером на бумаге и им же указал на угол стола, где под скотчем лежал бумажный квадратик с точно таким же.

– Да, но у меня ведь такая же бумажка есть. Извини, но... ты ее случайно не с моего стола взял? – Паня попытался поймать взгляд хотя бы одного из своих коллег. Но его лишь обдало ветром их убедительного – а может, и неподдельного – безразличия. Паренек шумно вздохнул, положил бумагу на стол и ткнул побелевшим от нажима пальцем в графу с именем, где от Пантелеймона остался разве что слабый аромат ладана, огарок бугристой свечи с тонкой струйкой дыма, тянущейся от черного фитиля. Матвей.

– Случайно – нет. Вообще, меня руководитель сюда лично проводил.

Паня почувствовал себя потным громоздким сорняком посреди ухоженной лужайки офиса. Голова горела и чесалась, пот щипал его подмороженные щеки и щекотал скромные полупрозрачные усики. Одна капля сорвалась с носа и упала Матвеем прямо на плечо. На зеленой ткани быстро выросло темно-бурое пятно с парой мелких крапинок вокруг. Матвей бросил взгляд на свое плечо и тут же – на Паню.

– Ой, прости, пожалуйста, мне...

Матвей двумя пальцами оттянул «пораженную» ткань и принялся на нее дуть.

– Я пойду, все узнаю у начальника, ты извини, что так вышло... – пятясь в узком проходе между рабочим столом и креслом-мешком, лежавшим под массивной круглой колонной, Паня зацепил его ногой и резко извернулся, чуть не упав в его объятия. В спине, в области таза, что-то хрустнуло и тут же заболело скрипящей ноющей болью, но Паня, подгоняемый стыдом, только слегка согнулся и быстро зашагал к лифту. Матвей продолжал дуть, коллеги продолжали работать.

Начальник – не совсем точное определение для того человека, к которому пришел Паня. Начальник – это злой мужик с головогрудью вместо головы и груди, с волосенками вместо волос и Бигмаком вместо сердца. Он низкий и пузатый, но его жировую прослойку обеспечивают не дворцовые деликатесы – рульки, стейки и баварское пиво, а, скорее, грудки «Петелинка» и пиво, у которого немецкое только название. Начальник – это пингвин, но не королевский, в чьей полноте – стать, слегка прикрытая фраком. Это пингвин, чьи ласты не стали крыльями собственного мини-джета, пингвин, не превозмогший силу притяжения денежной

стихией. Перед Паней, поднявшимся на четырнадцатый этаж офисного здания, в котором он работал уже второй год, сидел не начальник – руководитель, потому что он даже и не сидел, зажатый скрипучими липкими подлокотниками, а стоял, уставившись в большое панорамное окно. Денис Львович. Для Пани – просто Дэн. Приятный мужчина тридцати двух лет, в черном пиджаке и белой футболке под ним. На ногах у него были белые кроссовки, что в зародыше удушало всяческие коннотации с представителями сообщества клерков ранней компьютерной эпохи. Они с Паней нередко зависали на корпоративах и временах – не то чтобы часто – пересекались в столовой. Точнее, в кафетерии – столовые там же, где и начальники. Но нельзя сказать, что они дружили. Паня боялся показаться – и другим, и Денису, и самому себе – единственным инициатором дружбы, поэтому, как только он видел, что Денис смотрит куда-то за него, тут же прошался (Боже упаси, если не первым) и уходил по мнимым делам.

Паня вошел в кабинет со стуком, но без разрешения с той стороны. Впрочем, посмотрев на Дениса, он подумал, что ответа бы все равно не дождался. Хоть он и заявил о себе довольно выразительно, – тяжело дыша и переминаясь с ноги на ногу, – Денис, если и заметил его присутствие, никак этого не показывал. Пользуясь случаем, Паня решил отдышаться и прийти в себя.

На одной из матовых стеклянных стен кабинета висела пробковая доска, а на ней, среди пестрых стикеров-напоминалок и таблиц, – замысловатый коллаж. Фоном служила бело-красная афиша праздничного ивента, проходившего в офисе, по случаю дня защитника Отечества. Такой неуместный национальный код. Все вроде должны сидеть на солнечной лужайке в креслах мешках и с маками на коленках, или на крайняк – в цветастых комнатах, словно бы изначально планировавшихся как детские, а тут этот запашок потных шинелей и полевой кухни...

«Но было хорошо» – вспоминал Паня. – «Аппараты для попкорна и сахарной ваты, большая сцена, где играли группы сотрудников, короткий рабочий день...»

Но афишу Паня узнал только потому, что у него у самого была такая – у Дэна она вся была расчерчена маркером под кирпичную кладку. Посередине этой кирпичной стены, вырезанный из бумаги, на клею висел Нео из «Матрицы» – но и его можно было узнать с трудом, лишь по коронному обратному наклону туловища, в котором он уворачивался от пуль. Плащ же его, видимо, переболевший тем же, чем Майкл Джексон, из черного стал белым и теперь до смешного напоминал белогвардейский китель. На ногах у Нео были вэнсы с классическим шашечным узором, вырезанные, по-видимому, из каталога и своими несуразно огромными размерами напоминавшие клоунские башмаки. Кроме того, сам Нео был лысый.

В надежде разгадать этот культурный ребус Паня перевел взгляд на надпись над загадочной фигурой, набросанную острыми тонкими мазками алой краски. «Just another Brick off the wall». Чужая разгадка в лишней заглавной букве, Паня снова всмотрелся в лицо под надписью и узнал в нем Маяковского.

– Ну как, тонко? – спросил Денис, водя ладонями в какой-то неприличной близости от оконного стекла. – А вышло запарно. Особенно инверсия цвета плаща. Про фон вообще молчу – пинкфлойдовский постер нигде сейчас не найдешь – пришлось всю компанию ребрендить. Зато вот фольклором обрастаем.

– Дэн, безумно извиняюсь, я на секунду. Сейчас к своему месту подошел, а там чел какой-то сидит – говорит, новенький. – Паня нарочито громко выдохнул, как бы завершая свой марафон, и, сглотнув, продолжил: – В системе, наверное, что-то напутали, – он помнил, что «Вообще, меня руководитель сюда лично проводил», но подметить это Пане казалось уже наездом.

– Извини, я задумался... Повтори-ка сначала.

– Конечно, подхожу я сейчас к своему...

– Стоп, – сказал Денис так, будто у него действительно имелся пульт от Паниного речевого аппарата.

– В чем дело? – как-то пришибленно спросил Паня.

– Теперь повтори все точно так же.

– Говорю: подхожу я сейчас...

– Вот! – гаркнул Денис. – Тебя ничего не смущает в этих словах?

И тут Паня понял, о чем идет речь.

– Извини, пожалуйста, я сегодня припоздился, такая глупость вышла, даже говорить стыдно... – но говорить Пани стало не только стыдно, но и страшно. Он понял и кое-что еще, о чем можно было легко догадаться, глядя на то, как Денис продолжал политкорректно домогаться стекла. – Постой, так это не ошибка? Ты меня что...

Руки перед стеклом застыли.

– Ну, так что я тебя? – спросил Денис, забирая последний оставшийся, верный ответ у пристыженного своей же глупостью школьника.

– Заменял?... – не то ответил, не то спросил шепотом Паня. Он не решился произнести тот глагол, который, однако, точнее бы описал ситуацию, когда твое рабочее место занимают, а тебе приходится искать новое.

Дэн молчал, не спеша делиться той определенностью, с которой ему видится ситуация.

– Постой, Дэн, но ты же знаешь, я никогда не опаздывал, отпуска у меня копятя...

– А жаль, – отрезал Денис с такой интонацией, когда не очень понимаешь, кому именно жаль. – Поехал бы куда-нибудь на недельку, погрелся бы на солнышке, выспался, отдохнул, и вот такого бы не произошло, – при этом «вот такого» Денис повернулся, указав пальцем на Паню, и тот понял, что имеют в виду его местами почерневшую от влаги синюю куртку, пятно на сером, в крапинку, ковролине от натекшей с ботинок бурой грязи, сходящий с щек румянец и, конечно, его потные волосы, засохшие иголками. – Ты себя видел вообще?

Паня принялся стягивать с себя куртку.

– Да я не про это, оставь. Ты у врача давно был? Тебе страховка зачем? Пойми, – Денис тяжело вздохнул, как если бы он о чем-то жалел, – это твоя жизнь, делай с ней что захочешь вплоть до принудительного выключения, только здесь, будь добр, нажми «ctrl-s». А так, увы, но твоя нетрудоспособность нам дорого обходится. От этих слов у Пани зануло в животе.

– Дэн, Дэн, послушай... ну ты сейчас о чем вообще? Ну какая нетрудоспособность? Опоздал на полчаса, каюсь, но за полтора года ни одного прогула, ни одного опоздания...

– Ну, а мы тебе за это полтора года деньги платили.

– Полчаса...

– Послушай, у нас с тобой, видимо, разные представления о нашем, так сказать, предприятии и о тех столбах, на которых оно стоит, – Денис подошел к своему стеклянному столу, оперся на него руками, прогнул спину и пару секунд смотрелся в его зеркальную поверхность, после чего резким движением поднял голову, будто только заметил постороннего человека в своем кабинете, наградив его острым неумолимым взглядом, – Пань, ты и есть столб. Один из таких столбов. И в этом здании нет несущественных опор – у нас тут как на испанском празднике, когда над площадью поднимается башня из людей. Лишних не держим, жесточайший отбор. Потому мы и крупнейшая IT-компания в России, оборот в отчетах не умещается. Потому твои друзья и могут прийти сюда попить халявный кофе и поиграть в пинг-понг, а ты сам – нехило заработать. Но если опора необходима, это не значит, что она незаменима. Это как Сталин говорил...

– Незаменимых людей нет, – с внезапной для него самого покладистостью вставил Паня.

– И себя ведь имел в виду, как настоящий мудрец... – как бы в задумчивости сказал Денис. – Впрочем, с того времени немало опор полегло, хотя растут они из тех же мест... Но вернемся к нашим электроовцам. Ты как вообще считаешь, откуда берется хороший продукт? Кто его делает? Ребята из креативного отдела? Маркетологи? Кодеры?

– Наверное, все вместе? – несмело ответил Паня.

– Отчасти так. Но знаешь, что делает их всех сотрудниками именно нашей компании? Все они пашут без продыху и время свое капитализируют так, что для них выражение «время – деньги» – не какая-то присказка, чтобы разогнать пустой базар, а алхимическая формула, где одно переходит в другое без примесей лени и залипухи в телефон.

– Подожди, но как же идейные вдохновители? – возразил Паня. – Пахать можно сколько угодно, только вот потом окажется, что твоя пашня была, извините, на свалке в Мозамбике... – он осекся, поняв, что язык его от какого-то сдержанно-воинственного чувства, трепетавшего в районе солнечного сплетения, немного опередил его мысль.

– Паня, подойди сюда.

Паня подошел.

– Посмотри в окно.

Там, внизу, струилась дорожная артерия, полная кровинок, стремящихся в центр, чтобы мозг не умер от кислородного голодания.

– Что ты видишь? – спросил Денис.

– Шоссе, машины, дома, эстакады – Паня называл первое, что попадалось ему на глаза.

– Правильно. А что это вдоль шоссе?

– Ну, офисные здания, станции метро... магазины?

– Именно, магазины. Они тянутся вдоль больших дорог, транспортных узлов – артерий города. Это и есть твои идейные вдохновители, идеалисты твои, Паня. Древние цивилизации возникали на берегах больших рек, их воды, разливаясь, орошали земли, где росли пшеница и ячмень. Ими кормили домашний скот, зерна мололи и выпекали хлеб. Река дает нам жизнь. Она дает жизнь всем умельцам, изобретателям колес различной запрещенности и народным умам. Они стекаются на шум стремительно и широко бегущей воды. Это не реки текут вдоль ларьков – это ларьки тянутся вдоль реки. Ну не ларьки, это раньше еще – торговые центры, лофты, барбер-шопы, антикафе, кальянные и прочая крафтовая дребедень для хипстерских кошельков. Слова меняются, но подразумеваемое остается прежним. И мы с тобой, Паня, и есть река, точнее – мелкие рыбешки, плывущие по ней. Это мы своими маленькими хвостиками создаем те завихрения, что, множась, сливаются в громогласное бурление рынка, привлекающее инвесторов. А сладкоголосые мечтатели, окрыленные идеей сделать мир лучше, несут икринки будущих бизнес-проектов именно сюда, потому что здесь, Пань, – Денис ткнул пальцем в стол, – лучшее место для нереста.

– Не, ну погоди, ну что ты все упрощаешь так – икринки, рыбешки... Но ведь есть... но ведь были светила нравственности, флагманы поколения, пророки: писатели, поэты, музыканты, философы. Все они ведь задавали народные ориентиры, повестку эпохи. Разве не они направляли реку общественной жизни?

– Паня, Паня... они эту повестку освещали. Поставили свои ларьки ближе всех к реке, чтобы каждая рыбешка могла подплыть к лотку с речной водой и увидеть в ней свое отражение. Помнишь у Пушкина?

«Восстань пророк, и виждь, и внемли,
Исполнишь волею моею,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей»

Все пророки твои «внемлют», – Денис разломил это слово на два хромых слога, – именно бурлению реки, улавливая ее влажное дыхание и соревнуясь, у кого слух абсолютнее – тем и зарабатывают на жизнь. Хотя во все времена им казалось, что кто-то из них повелевает водной стихией. Собиратели народных слез, продавцы фантазий, сомелье – хоть горшком назови. Из «Короля и шута», конечно, хе-хе. Они стоят у реки с сачками и по капельке вытряхивают

ее в цветастые пакеты, а затем продают их нам, усредненным обитателям городских рек. Эту разбодяженную авторскими слезами реку покупают только потому, что по ней регулярно проезжает чиновничий катер, и в ходе этой «королевской» рыбалки рыбу-покупателя оглушают динамитом, не говоря уже о том, что это давно уже не река, а круглый аквариум, в котором не каждая рыба не повредится рассудком. После каждого нового порога реки, который, как показывает мировая история, всегда ниже предыдущего, на берегах вырастают новые публичные заведения, обещающие спасение от горя и скуки. Только если раньше это были филармонии и оперные залы, потом джаз- и рок-клубы, то сейчас это торговые центры и сетевые кинотеатры. Жрецы, писцы, творцы, криэйторы. Времена шли, бирки затирались и сменялись, но удел их носителей оставался таким же, как у фермеров или рыбаков – продавать тебе то, что не можешь добыть сам, потому что ленивый всегда платит, а если он еще и скупой... ну, думаю, не нужно объяснять.

Паня стоял так же, как и всегда, когда Дениса, нередко подвыпившего, начинало уносить в подобные дебри, – скрестив руки на груди. Денис сосредоточенно, даже с некоторой одержимостью, смотрел в окно, словно бы взглядом ведя свою мысль через лабиринты отливающих ртутью крыш. Дома смотрели вверх, на глыбу офисной башни с какой-то тяжелой, вымученной покорностью. Как на мучителя, про которого и думать плохо уже запрещено. Они смотрели из дрожащей бледной синевы, которая, кажется, уже целую вечность висит над городом и столько же еще провисит. Безраздельно и несокрушимо. И есть лишь пара дней в холодные времена, когда выглядывает солнечный лик, лишенный всяких черт, которыми можно было бы состроить укор, но под его взглядом почему-то становится невыносимо стыдно.

– ...Если река слишком долго застаивается, – Паня ухватился за середину смысловой нити, выйдя из забвения, в котором речь превращается в журчание воды в соседских трубах, – хлынет вновь она только кровью, смыв всю жизнь на своих берегах... Кто-то успеет смыться, а кто не успеет, того уже смоят. И в этом тоже всегда было раздолье: раньше в Охотское море целыми баржами смывали, сейчас поскромнее – в сортире мочат. Смотришь на какой-нибудь особнячок в колониальном стиле на реке Миссисипи, или на какую-нибудь там гидроэлектростанцию на Гудзоне, которая всю округу питает (ну, это я так, условно), а там, батюшки – два колена и дед с бабкой – евреи, от погромов бежали из России. А потом все на ток-шоу у Джимми Киммела сидят, хихикают и на ломанном русском матерятся. А ведь такие кадры были бы у нас... «Ну и не нужны нам такие каприоты нашей Родины!» – завопят те, кто составляют расстрельные списки, либо кто еще не знает, что там оказался...

Машинки катили по шоссе, как ползунки – по полосам эквалайзера. Только как их не выстави, все равно получается один только белый шум. Но за толстыми, как в океанариумах, стеклами, за окнами без единой форточкой его не было слышно. Поэтому машинки, катившие по шоссе, напоминали капельки, бесшумно ползущие по стеклу. Только ни одну из них нельзя было стереть или направить вспять, потому что они ползли по другой его стороне. Все это очаровывало, но в то же время немного пугало.

– ...Культура ведь с ее наукой и искусством по природе своей растительна, это просто зелень, пышно цветущая там, где солнышко и влажно. Ботаники и социологи имеют в виду одну и ту же культуру, когда говорят и о растениях, и о людях. Ведь все эти очаги высокой культуры от Венеции эпохи Ренессанса до Вены времен Иосифа Второго были смачно удобрены денежным капиталом. Но это не значит, что все упирается в правильный уход. Поставишь теплицу – получишь тепличную культуру, чья судьба напрямую зависит от сохранности теплицы. Высокой, долговечной культуре нужен фактор естественной среды. Как говорится, поливай, но доверяй. У нас в стране всегда было из крайности в крайность: то холодная тундра, где крючьями растут дубы, об которые потом весь мир с восторгом режется, то теплица с *attalea grisea*, которая всегда норовит пробить крышу. Джобсы, гейтсы, маски, уорнеры, генералы

сандерсы – все они оказались там, где в один момент хлынула денежная река. И тут они сами стали скручивать краны и прокладывать трубы.

– Но ведь до этого ты сказал, что рекой нельзя управлять, а можно только приторговывать, – Паня говорил отстраненно, смотря на свой полупрозрачный силуэт, отражавшийся в стекле вместе с островком кабинета.

– Да, сказал и не соврал. Те балаболы, которых ты назвал нравственными ориентирами и ткачами реальности, действительно способны лишь выжимать реку вперемешку с потом из своих мокрых футболок, разливать по стаканам и напавать жаждающих путников, которые не заметят до боли знакомый душок сероводорода сточной воды за соленым привкусом и еще окрестят этот коктейль «новой искренностью». Все, кого я чуть раньше назвал, тоже не могут перенаправить русло, но зато могут – через пот, слезы и кровь – протянуть новый рукав. Тогда и появляются новые берега, на которые нынче заносятся столы с инвентарными номерами, компьютеры, горшки с фикусами и закатываются офисные кресла. А трудяги-смелчаки выжимают футболки, но уже не свои, а женские – на тематическом конкурсе, организованном в их честь.

– А ты не думаешь, что в один момент река разольется так, что не будет ни ее, ни суши, а будет одна сплошная топь? – спросил Паня.

Денис, до этого расплывавшийся в ухмылке оттого, как он это ловко завернул с футболками, помрачнел.

– Пань, ты ведь знаешь, куда выходят окна с другой стороны здания? Я имею в виду те, которые смотрят в сторону от центра.

– Да, метро «Аэропорт», торговый центр...

– А еще?

Паня напрягся, представляя все то, мимо чего он проезжает каждый день.

– Финансовый университет?

Денис, выждав паузу, ответил:

– Вот именно там сидят или только нагревают себе место те, кто говорят нам, где копать можно, а где нельзя. И мы в безопасности, пока в их руках вся геодезия с гидродинамикой бизнес-пространства, или как их там...

– Но ведь они тоже... – попытался вставить Паня.

– Да что говорить, Пань – везде разные реки, – резко крутанул Денис, – Даже в одном месте воды ее полностью обновляются спустя время, как клетки наших тел. У нас здесь раньше была золотая, но текла она экспрессом в Царское Село, потом она покраснела, но, вроде, даже какое-то время текла для всех, а сейчас вообще почернела, стала вязкой и течет куда-то в сторону Темзы и Дуная. Точнее, утекает... – Денис на время умолк, и на лице его нарисовалась какая-то мрачная улыбка. – Надо же, прямо немецкий флаг какой-то получается... Ну а в тренде нынче зеленый.

– Не знаю, а как по мне, река, она и в Африке река, – сказал Паня с тем издевательским спокойствием, какое может быть лишь ответом на чужую изворотливость.

– Согласен, река, она и в Африке – река, – быстро проговорил Денис, – Но что в Африке река, то в России – Онега. Секрет, Паня, в том, что цвет и консистенция неважны. Важна та длина, на которую река развертывается прежде чем пересечь границу страны, важны те крутые изгибы и завороты, которыми она оплетает даже самые медвежьи углы. Потому что именно те, кому не хватило клочка берега под свой ларек или хотя бы под табуретку, чтобы сидеть с удочкой, и учиняют перемену цвета.

– И все-таки кто мы в этой реке: рыбы или рыбаки? – спросил Паня своим прежним отрешенным голосом.

Денис, оторвав взгляд от течения города, посмотрел Паню прямо в глаза:

– А ты еще не понял? Мы – русалки, – сказал Денис, и круги под его неморгающими глазами, казалось, углубились и стали еще темнее.

– Русалки? – спросил Паня, но от вопроса был разве что вопросительный знак в конце предложения.

– Да, русалки, то есть мы и те, и другие. Мы сидим на берегу, закинув удочки, и ждем, когда клюнет. И вот над водой блеснул заветный плавник, а удочка прогнулась под тяжестью ноши, самой приятной из всех мирских тяжестей. Тобой овладела жажда наживы. Леска в мельчайших деталях передает движение каждого мускула жертвы. Ты запоминаешь каждое это движение, эту гипнотическую динамику натяжения и расслабления лески на пути к твоему ведерку, на каждом его сантиметре, за который отчаянно бьется рыба, зная, что этот путь – ее последний. Потому что ты – рыбак, и от твоего умения зависит то, будет ли сегодня сыта твоя семья. И вот из воды показываются первым делом насаженные на крючок губы, потом – голова, а затем и все тело, рыбе лишь наполовину. И все такое знакомое, даже родное... И как жаль, что перед глазами контрапунктом этому внезапному и пронзительному узнаванию предстают голодные рты домочадцев...

Денис, как ужаленный, резко вздернул руку с часами к лицу.

– Ой, да что это я... – он набросился на бумаги на столе и принялся раскладывать их по ровным стопочкам – у меня уже пятнадцать минут как собес... встреча... – глаза его тревожно бегали по столу, но после этой оговорки как будто еще и съезжились. Паня по-прежнему стоял у окна, наблюдая за сборами. Денис резким движением надвинул на бумаги пресс-папье в виде миниатюрной хлебной булки, уже на ходу схватил серебристый ноутбук, зажал его под мышкой и метнулся к выходу из кабинета. У двери он развернулся и мотнул головой, приглашая Паню за ним. Но этот беглый жест прервался на середине, как будто голова Дениса встретила сопротивление невидимых узд. Паня сидел в кресле. В его кресле. Положив ноги на его стол. Ноги в уличных ботинках, истекавших густым городским гноем. Бумаги, разметанные по всему столу, обильно его впитывали. На бумаги, ноги и грязь на столе Денис метнул очередь вопросительных взглядов. Но когда взгляд его переместился на Паню, озадаченность в нем исчезла, и на ее место пришло восхищение. Часто оно стоит очень дорого, часто за него потом трудно себя простить. Но в этом и его сладость. Уже потом будет оценка ущерба, охрана, уборщицы, восстановление бумаг. А сейчас наглость Пани была обворожительна.

– Любопытная штуковина, – Паня медленно вращал в руках пресс-папье, – только старомодно как-то. Многие уже полезли гуглить, что это и зачем. Гранит, значит? Что, неужели из Синайской пустыни?

Ответа не последовало.

– Ах, да, ты говорил об опорах. На них все держится, незаменимых нет, так? – Паня смотрел Денису прямо в глаза. В его взгляде не было ни капли страха или стыда – только какая-то будничная сосредоточенность. Денис в подтверждение только моргнул. – И вот я подумал: по логике вещей, чем ты ниже, тем больше на тебе держится, но тем больше ты и при себе держишь. Понимаешь о чем я?

Денис снова моргнул.

– И, соответственно, чем ты выше, тем легче твоей спине, но тем меньше этажей подчинено твоей воле, правильно?

По задумчиво опустившимся глазам Дениса стало понятно, что нужны разъяснения.

– «Человека-паука» смотрел? Нет, я не про этот мышинный помет, который еще недавно в кино шел. Я про трилогию Сэма Рейми.

Денис кивнул глазами.

– Ну вот, оттуда крылатое: «Чем больше сила, тем больше ответственность». По сути, власть – это провода, по которым в других струится твоя сила, твой заряд, а ответственность – это сумма абонентов, запитывающихся от тебя, так?

Денис кивнул уже головой.

– Тогда объясни мне, пожалуйста, – Паня поменял местами скрещенные на столе ноги, – почему, становясь все выше, опора держит при себе все больше? Ты не видишь в этом явных разладов с физикой?

– Паня тут все не так пр... – попытался вставить Денис.

– Во дни сомнений, – перебил его внезапно забасивший Паня, – во дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, – ты один мне козырек и крыша... Или как там... Что, не так? Опора и поддержка, говоришь? – хотя Денис больше уже ничего не говорил и не хотел говорить. – А нужны они сейчас кому? Поддержка? В нее сейчас только обращаются, когда мультиварка сломалась. Опора? Про нее вообще молчу, от нее у начальства только запоры. Но ничего, крыша дает просрать. Сейчас, знаешь, она как-то всем нужнее, ее все ищут. Раньше могли и башню снести, если крыши не было. Да и сейчас, в сущности, ничего не поменялось... Но аномалии вообще здесь не только с верхом и низом. Взять то же солнце, – Паня резко крутанулся в кресле навстречу серому беспросветному небу так, что оно взвизгнуло от боли и чуть не опрокинулось. В смысле, кресло. – Хотя и взять-то его особо неоткуда... Но мы все равно свято верим, что оно встает на востоке. Точнее верили. Однако в условиях метеорологической смуты данные легко подделать. Вера во что-то очень быстро замещается знанием. Даже если знанием противоположного тому, во что ты верил. Даже если без этого «противопо». Поэтому сейчас солнце встает на Западе, а до нас оно доползает намного позже мировой премьеры, озвученное в подвале каким-то гнусом с прищепкой на носу и, как правило, в виде экранки, снятой трясущимися от тремора руками. Но что поделаешь – спаивают народ... Да взять хотя бы нашу конторку, – с нажимом произнес Паня, явно переступая какой-то внутренний рубеж. – Ну разве не с гугла картинку рисуем? – он прочистил горло и глубоко вдохнул перед самой дорогостоящей декламацией собственных стихов за всю его жизнь:

«Девственный свет,
пронзая слезу ущемленных,
распался над миром
на спектр шестцветной свободы.
Радуга-урод,
сочась через копоть и смог,
вильнула хвостом
над зубом Кремля с воспаленной десной.
И лыбясь, и кланяясь тем, кто внутри –
насколько хватит их –
она разложилась на пятьдесят оттенков
московской слякоти»

Никогда и никто еще не одаривал Паню столь чуткой тишиной во время его поэтических чтений.

– Исторический путь России, – Паня будто прочитал какую-то очень древнюю надгробную надпись, обязующую хотя бы к нескольким секундам почтительного молчания. – Он начинается с того, что кто-то, выставив наслонявленный палец, говорит всем, с какой стороны встает солнце, встает ли и солнце ли это вообще, на основе метеорологических данных делая вполне астрономические выводы. Ну ты понимаешь – любые распорядки начинаются с распяток. После определения светила неминуемо выявляется и наша от него удаленность, ведь определить – значит, определить, если немного подсобить сэру Уайлду с русской локализацией.

Дениса не впечатлил подобный каламбур.

– Но в сущности, эти пространственно-временные параметры – верх и низ, лево и право, свет и тьма, – по которым выстраивается, во-первых, жопа, в которой мы сидим, и, во-вторых, свет в конце ее тоннеля, являются лишь продуктами ума, хоть личного, хоть коллективного. Да, расфасовка разная, но продукт-то один – чья-то фантазия. Мы все живем в вымышленном мире, только на него мы, как мишуру, навешиваем еще и свой вымысел в виде воспоминаний об этом вот домике внизу, в виде мыслей о шоссе и страстей вон к тому человечку. Глядя в одни и те же глаза, один увидит любовь, второй – похоть, третий – страх одиночества. И все эти различия и ауры – просто птичий помет на лобовом стекле нашего взора, который мы периодически по нему размазываем, включая дворники. Ну а вид за стеклом, как и само стекло, как и того, кто включает дворники, чтобы его протереть, придумывает кто-то, для кого мы – такая же мазня на лобовом стекле его мысленного взора. Для нас все в этом мире состоит из атомов, есть какая-то относительность, но для того, кто сейчас пишет нас, «атом» и «мир» – это просто черные буквы на белом листе. Мы знаем эти слова и что они означают просто потому, что он сочиняет нас по собственному подобию, где все это уже известно людям по умолчанию. В следующий момент Автор может подумать и написать о Космодроме из «Черепашек-ниндзя», и тогда он появится из ниоткуда прямо над Волоколамкой. Или же автор напишет, что мы только говорили о такой возможности. Он может перенести нас в Забайкалье, вокруг вырастут сосны, заструятся изумрудные воды, а в лесной прохладе повеет хвойной свежестью. Или он напишет лишь о том, как я себе это представил. Он может перенести нас на двадцать лет вперед. Просто потому, что для него эти «двадцать лет» и «вперед» – это не ткань времени и не направление, в котором она шьется с определенной скоростью, а просто слова, которые он может вертеть, как хочет, и ставить в любом порядке. Он может вообще не знать, что произойдет с нами в следующее мгновение, но его рука, пишущая нас сейчас, так же, как и мы – всего лишь слово в его нарративе, чье действие предопределено глаголом. Даже мои эти рассуждения. Я всерьез могу считать, что подцепил их из книги, которую прочитал. Но этот шаг может быть всего лишь попыткой Автора оправдать воровство чьей-то интеллектуальной собственности культурной осведомленностью его персонажа, потому что он, как и я, мог не знать, в какие дебри уйдут мои рассуждения. Но это ведь его рассуждения, понимаешь? Которые он вложил в мои уста словами «Паня сказал» перед началом реплики... – Паня замялся, мысленно возвращаясь на основную дорожку, с которой он свернул несколько ее ветвлений назад.

Впрочем, ему в этом никто не мешал.

– Вот! Эта моя заминка – ведь не может ее там не быть... Но да ладно. Чуть раньше я говорил «в следующий момент автор то, в следующий момент автор это». Фишка в том, Дэн, что все, включая и эти мои слова, он писал в предыдущий момент. Мы никогда не обгоним его строку, не сделаем того, о чем бы он до этого не написал, даже если это ничегонеделание, потому что всегда можно будет написать, когда, где, кто и сколько времени ничего не делал. Казалось бы, я могу встать и все здесь разгромить. Но так оно, значит, и было написано: «Паня встал и все разгромил». А автор может переставить существительные, поменять число и род у глаголов, и тогда «все встанет и разгромит меня». Он может написать «Паня умер» и не упоминать меня больше на страницах своей книги, и тогда меня действительно больше не будет, и я этого даже не замечу, потому что не будет и того, кто мог бы что-либо замечать. А знаешь почему, Дэн?

Но Дэн не хотел ничего знать.

– Потому что любые наши замечания – лишь пометки на полях, создающие нас. Мы не проникаем в ткань мироздания, а лишь плетемся из нее, даже если в следующее мгновение она сложится в буквенный узор, что я ее плету или отрезаю. Только у Автора есть право белого листа и последней точки, власть над бытием и небытием. Но Автор – не человек. Он вообще никто, поэтому он – все. Определить – значит, определит: ты человек, поэтому ты не дельфин, ты Денис, поэтому ты не Паша. А Бог неопределим. У него нет рук, поэтому пишется все и

сразу. У него нет сознания, поэтому пространство его фантазии, которое мы зовем Вселенной, безгранично. У него нет глаз, поэтому он смотрит отовсюду. У него нет разума, поэтому все, что мы узнаем и все, что еще узнаем, он всегда знал. Можно подумать, что он отождествляет себя с какими-то отдельными персонажами – творцами, шаманами, пророками, – потому что наделяет их своими качествами, но это не так – как только появляются качества, которыми можно наделять героев, появляется и их носитель, если есть отождествляемое, есть и отождествляющийся, который уже не может быть ничем другим, а, следовательно, он не все остальное. Мы созданы по образу и подобию Божьему, это так. Но авторская сноски, старательно затертая редакторами в тиражах, от которых до сих пор смердит костром, уточняет: «как и всякая материя в ее стремлении к совершенству». В своем же падении в бездну разложения и тления материя подобна Разрушителю. Причем ни одной из этих сущностей – добро и зло, Творец и Разрушитель – в человеческом смысле нет, однако есть распространители их воли. Они появляются, только преломившись через линзу «человек», через нее же они обретают и намерение. Еще один чисто человеческий парадокс. С точки зрения человеческих смыслов вообще невозможно объяснить, зачем кому-то из них нужен этот кукольный театр, потому что очень быстро выясняется, что «руки» «кукловодов» орудут нами из пустоты, в которой это представление некому показать, некому продать и ни один из авторов не имеет того органа, которым мы обычно наслаждаемся или скучаем, что отмечает всевозможные пошлости, согласно которым здешнее шоу разыгрывается на потеху кому-то. Разум – лишь короткий отрезок каната, по которому мы ползем к свету. Скорее даже, это тот инструмент, с помощью которого мы пока можем карабкаться выше. Но, как известно, инструменты затупляются и грубеют, и настает пора их менять. Однако, только если мастер готов и достоин, отказавшись от старых, он может овладеть новыми и более утонченными. Можно подумать, что каких-то персонажей Автор выводит на первый план, каких-то задвигает на второй, но это тоже чушь – так делают только у нас – из личных пристрастий или для лучших продаж. Первых у Автора нет, а вторые ему не нужны – он – это и предметы всех твоих страстей, и все деньги за сейфовыми дверями этого и других миров. Автор себя ни с кем не отождествляет – это мы, стремясь к совершенству, становимся подобными ему. Если я – Вымпелов Пантелеймон Артамонович, двадцати трех лет отроду, проживающий в Москве, то меня пишет какой-то книжгер, только что выбежавший с писательских курсов и принявшийся за свой паршивенький романчик, борясь с культурно-отсылочной диареей. Сюжет – мизерный отрезок всеобщей истории без увлекательного начала и сильного конца – еще хорошо, если хоть одна батальная сцена на это время придется. Масштаб действия – зелено-синий, но активно лысеющий и ссыхающийся шарик, а на практике – один городок высокой загазованности и средней паршивости. Точка зрения – метр восемьдесят над землей, с каблуками выше, но из-за радикулита – ниже, чаще всего замыленная быстропортящейся оптикой. Последствия действий героя – не дольше года и не дальше его конуры. Размах мысли – день назад, день вперед. Знание – не гуще того культурно-куриного бульона по подписке за сто шестьдесят девять рублей в месяц, в котором персонаж медленно разваривается. Куча логических дыр, повторений, провисаний сюжета, чего ближе к концу только больше, вулканически мигающих рекламных баннеров и грязного порева, чего к концу, благо, меньше. Но если я – это я, по-другому меня не напишут, хоть за дело бы взялся Толстой – таковы уж исходники: где-то побольше экшена, где-то твисты позакрученной, виды покрасивше, но общий сюжет романа «Человек» таков. И я не могу обратиться к Богу с претензиями на этот счет. Потому что, когда писатель, сидя за своим текстом, вкладывает в уста персонажа реплику: «Привет, Создатель», это будет означать только одно – Создатель говорит сам с собой. У него нет того, что можно было бы назвать намерениями в человеческом смысле хотя бы потому, что само «намерение» – это просто слово из девяти букв, которое и понятно-то без перевода не всем особям одного вида, а то, что под ним подразумевается, применимо только к биологической форме, разрабатывающей тактику в целях выживания. Цель, смысл, мотивация, намерение –

все это уголь, которым мы кормим гормонально-наркотическую топку наших мозгов, чтобы жить и двигаться дальше. Эта система пришла на смену грубой инстинктивной силе как тактическое подспорье в борьбе с когтями и клыками за выживание. Только уголь этот для функционирования никому кроме нас либо уже, либо еще в природе не нужен. И подходить к Богу с расспросами о его закопченной топке так же нелепо и даже грубо, как если бы обезьяна спрашивала у человека, где его хвост, который так ей важен при прыжках по веткам. И здесь как раз кроется главный подлог. Как только обезьяна обретает возможность задавать вопросы, выстраивая сложные словесные конструкции, хвост отпадает сам собой, потому что теперь обезьяна может спуститься с ветки, построить хижину, организовать с сородичами общину, установив в ней социальную иерархию, и сварганить орудия для обороны, труда и охоты, чтобы отстаивать свое место на земле. Теперь обезьяна понимает, что хвост был важен не ей самой, а тому запуганному зверьку, что прятался на ветках от крупных хищников. Но теперь, когда она может это понять, она больше и не обезьяна. Человек, увы, всегда уверен в том, что он способен худо-бедно, но уразуметь абсолютно все. Пребывая в иллюзии своего всемогущества, он не способен разглядеть самое важное – тот порог, через который ему надо переступить, чтобы стать сильнее. А за этим порогом само слово «порог» остается лишь грубым выкриком зовущего сородичей на охоту. Мы не способны осознать природу Бога по той же причине, по которой обезьяна, которая сейчас прошла бы мимо офисных ячеек, не смогла бы уразуметь, почему люди сидят перед светящимися прямоугольниками. Она бы увидела только те части целого, которые бы окрасились прикладными, обезьяньими смыслами в ее голове. Знаешь, я думаю, что мы действительно произошли от обезьян, но от нас умалчивают одну страшную тайну про них и эволюцию. В людей эволюционировал даже не один вид – это сделали лишь отдельные его представители. Так же, как не все представители «прогрессивного» вида рыб вышли перед этим на сушу. Условно говоря, из десяти шимпанзе только одна дала менее волосатое и более мозговитое потомство. И она не была самой сильной или самой проворной, нет. Дело тут совсем не в анатомии с физиологией – они уже приложились как симптом чего-то большего... не знаю... всепобеждающего движения вверх? Умалчивая об этом, информаторы, которым мы доверили просветительскую миссию, поступают с нами даже хуже, чем если бы они просто гнусно лгали. Потому что во лжи можно хотя бы усомниться, а здесь – пока найдешь среди горы наспех перемолотых знаний, в чем, собственно, сомневаться надо, уже и делать это будет некому. И в этой полуправде мы перекаладываем эволюционную миссию на какого-то абстрактного «человека прямоходящего», который станет умнее и лучше так же, как жираф отрастил себе длинную шею – потянувшись за зелеными листиками. Но человек, в полной тишине понаблюдавший за движением своих мыслей хотя бы несколько минут, понимает, что это варево, бурлящее в его котелке, складываясь то в обвинительные, то в оправдательные фрикадельки, имеет целью накормить не голодных посетителей и даже не повара, а само себя. И объять разумом идеи Бога, смерти, Вселенной – предприятие столь же сомнительное, как изваять из стекла статую Аполлона при помощи кувалды. Однако, как я говорил, без должного мастерства обменять старые инструменты можно либо на такие же, либо на еще более старые. И сейчас своим ржавым, затупленным инструментом человек возвращает себя в каменный век. Вернее не человек, а видное большинство, которое автоматизирует свою жизнь, храня свои знания и память на облаках. Сейчас ведь какой девиз эпохи: «Юла – крутится за вас». Сначала забудут, кто ее первым закрутил, и как он это сделал. А потом крутиться будет не для кого, ибо останутся одни разбитые порталы и мертвые голоса женщин-роботов на том конце, говорящие с пустотой. Если жизнь живет за тебя, ее незачем больше жить. Кстати, вернемся к машинам. Кажется, будто наша воля безгранична, а право перекапывать эту песочницу вокруг нас, возводя там замки, которые раньше были только в облаках наших фантазий, неоспоримо. Я могу подойти к чьей-то тачке и, пока водитель отвернулся или отвлекся, насыпать ему под стекло, которому он стопроцентно доверяет, птичьего корма или, там, не знаю... залить в омыватели

какую-нибудь гадость, чтобы все выглядело как самоубийство. Но вот в чем еще проблема. Посмотри на оконное стекло.

Но Денис никуда не посмотрел.

– Грязное. Но если я сделаю так, – Паня облизнул указательный палец, размашистым движением провел по стеклу и искренне удивился, когда к никуда не девшейся пыли добавилась мутная полоска, – ничего не изменится. Потому что грязь снаружи. А каждый раз ее счищать – это ты так заколебешься вылезать из машины. К тому же, чтобы вылезти, нужно для начала ремень безопасности отстегнуть. А это, – Паня помотал слюнявым пальцем, небезопасно. И очень-очень сложно. Но, так же, как мы можем загадить чужое стекло, мы можем и очистить его. На то мы друг другу и нужны. Любовь не должна быть чистой – она должна быть очищающей. Карабкаться вверх, преодолевая гравитацию, придавливающую нас к кроватям и диванам, оплетающую корнями привязанностей, страстей и страхов, и вести за собой кого-то, чтобы однажды, освободившись даже друг от друга, встать на ступень выше – в этом, по моему, настоящая любовь, а не в очередном закабалении эрогенных зон под предлогом взаимовыгодного заполнения слизистых лакун.

К трезвеющему взгляду Дениса что-то подмешивалось.

– И вот водитель с заляпанным стеклом врывается в остановку и уносит десять жизней, включая свою, врывается в бензоколонку и уносит сто жизней, включая свою, врывается в атомный реактор и уносит все жизни, включая свою. Казалось бы, вот – наклейка на твоём личном стекле стала частью пейзажа за окном, материя повлияла на материю. Но знаешь, что на самом деле произошло, Дэн? Знаешь, что произошло еще на моменте, когда тебе в голову взбрела мысль подойти с семечками к чьей-то машине?

Цифры.

– Создатель включил дворники.

Обратный отсчет.

– Знаешь, Дэн, иногда мне кажется, что Автору просто в какой-то момент надоедает прерывать мою болтовню ремарками по типу кашля, заминок, смены положения ног или чужими репликами и возражениями, которые бы мешали ему свободно высказаться за мой счет.

Если прислушаться, можно было услышать тиканье.

– Поэтому я тараторю без остановки, проговаривая свои монологи в полной тишине, и сам могу сказать, что мои щеки покраснелись, узлы на шее вздулись, горло охрипло, а уши горят, как сибирские леса. Ремарки больше не нужны – знаешь ли, я сам в состоянии сказать, что со мной не так, а мои намерения не нужно выносить за тире после моей реплики.

Десять.

– Ну да ладно, долой этот гнилой негритянский базар, как говорил мой папа. Мы с тобой все-таки на крыше мира или, с менее популярного ракурса, на самом его дне. Крыша... Ее ищут еще с момента возведения Вавилонской башни. И хоть Бог сжалился и сказал людям, что он не Карлсон, чтобы его там искать, было уже поздно – застройщику заплатили, а инвесторы ждали план проекта.

Девять.

– Об этом еще инквизитор у Достоевского говорил: и про хлебы, что без крыши – лишь раскаленные камни, и про Башню, что без оной же – лишь Колизей, принимающий в себе действие разной кровавости и пошлости. Помнишь? – Паня повысил тон до восторженно-проповеднического, – «И приползет к нам зверь, и будет лизать ноги наши, и обрызжет их кровавыми слезами из глаз своих». Да что я спрашиваю – ты ж мне это все и разъяснял...

Восемь.

– Да что ж ты молчишь-то в самом деле? – Паня ударил напряженными пальцами обеих рук по краю стола. Денис дернулся, но в лице не переменялся, будто кукла на покачнувшейся от чужих шагов витрине. – Аль строишь из себя узника в темной севильской темнице?

Семь.

– Великий инквизитор внушил тем слабосильным и несчастным, что приползли к нему с их же хлебами, две вещи: во-первых, строительство Вавилонской башни – их святой долг, а во-вторых – без крыши она так будет оставаться раскуроченным муравейником. Однако истинно из этого только второе. Ибо безграничен разум в своих построениях и ветвлениях, ведущих непременно к одним лишь мытарствам, как бесконечна и сама Башня, растущая своим остроконечным шпилем не в царство Божье, но в холодную удушливую пустоту космоса.

Шесть.

– И человек будет несвободен и несчастен не покуда он жаждет крыши, венчающей его греховный труд божественным флюгером, устремленным извечно ввысь (ибо такова суть и естество Башни), но покуда он эту Башню своими же руками и возводит...

Паню словно бы отпустило божественное провидение, сквозь века говорившее его устами: он откинулся в кресле и глубоко вздохнул. Краска на его щеках, нагнанная христианским возбуждением, тон за тоном утекала обратно в недра Паниной души. Уже в который раз за это утро. Кресло убаюкивающе качнулось под обмякшим телом.

Пять.

– Крыша... И как же все-таки велика сила внушения... Хотя, если знаешь природу реальности, становится понятно, что внушенное не шибко-то и отличается от этой реальности. Сила иллюзии в ее прозрачности: пьяный человек потому невменяем, что потерял исходную точку и не заметил подмены картинки, – Паня провел... – Да, мать вашу, я провел грязным ботинком по стеклянной поверхности стола!

Четыре.

– То же и с шизиками, и клоунами, и объятами похотью павианами – все по умолчанию убеждены в правдивости происходящего. Но как только различаешь хвостик, за который держали, когда лепили наклейку и который обрывается привычной серостью за окном, это расслоение, вернее даже его осознание, разрушает фальшивую перспективу происходящего, причем так, что аж дух захватывает.

Три.

– Разве никогда с тобой не случалось того чувства, что страшнее всех попсовых пугалок на свете, когда при одной лишь мысли о том, чего ты больше всего боишься, все, что вокруг тебя «пело и боролось, сияло и рвалось», начинает меркнуть и выцветать, обнажая – так жестоко и бесстыдно – свою фальшивую суть? И свет дня, и громкое застолье. Ты пытаешься ухватиться за образ, укрыться в чьих-то объятах, утонуть в громком звуке, но все оно теперь даже не старается показаться настоящим. Ибо есть только твой ночной кошмар. Его ржавые душные коридоры, из которых ты никогда на самом деле не выходил. Окраина жизни, на которую ты попал по ошибке, а вокруг тебя, на железных столах, лежат лишь те, на ком не колыхнется чуткая простыня, кого не волнует где они и что они. Кого уже нет в живых.

Два.

– Мы прекрасно знаем, какой убедительный бред плетет наше подсознание во сне. Но замечает обман и пробуждается от него кто-то или что-то, что никакого отношения не имеет к этому слюнявому балагану и никогда не имело. Но оно всегда было. Еще до того, как кто-то наспех соорудил цирковой шатер и затащил туда усыпленного транквилизаторами Маугли. Какой-то голос, который сначала настолько слаб, что к нему можно и вовсе не прислушиваться, кувыряясь с самой красивой девочкой в классе и тут же убегая от ее гигантской семиглазой промежности. Но стоит хоть на секунду остановиться и прислушаться – только прислушаться... – и ты понимаешь – этой твой собственный голос, говорящий, что все это тебе только снится.

Один.

– Крыша. Она внушила, что она всем нужна, без нее никуда. Но Ден... – в заострившейся тишине Паня медленно поднял ноги над столом и развел их в стороны. – Думал ли ты, что

будет, если ее снесет? – его руки, сплетенные хлебным булыжником, взмыли вверх; воздух загустел, став непригодным для дыхания. А затем Паня согнулся. Схлопнулся, как капкан, как гимнаст, прыгнувший через козла. Его руки молотом обрушились на стекло, которого тут же не стало. Потому что теперь был лишь грохот и стеклянный звон. Бумаги, устав от офисной муштры, облегченно вальсировали. В груди стекла поверженным титаном лежал моноблок. Клавиатура покачивалась, вздернутая на своем же проводе. Пресс-папье, будто конек в детской комнате, перекачивалось с боку на бок, и все эти осиротелые движения были так же нелепы, как последний смеющийся над шуткой, когда все вокруг уже отсмеялись. Но каркас стола по-прежнему твердо стоял на четырех алюминиевых ножках, и ни одна из них не склонила своего выдвижного колена. Паня как-то жалостливо посмотрел на осколки под его ногами, зачерпнул горсть и поднес к лицу, перебирая ее большим пальцем. – Вот она, твоя крыша... – Паня медленно наклонил ладонь, и стекляшки соскользнули, как льдинки, но на пол ни одна не упала.

Он стоял у окна. И очень хотел, чтобы, повернувшись, в кабинете он оказался один. Стоявшая перед его взором городская даль, казалось, до этого момента плавала где-то не глубже роговицы, как свет переулочного фонаря в глазах покойника, а сейчас словно бы соткалась из радужной ряби. Паня повернулся. В кабинете никого не было. На столе, ближе к краю, лежала аккуратная стопка, прижатая пресс-папье в виде хлебной булки, а прямо посередине – лист с распечаткой, внизу которого, отзываясь легким холодком под ложечкой, располагались поля для подписи. Одно было уже заполнено. На верхнем уголке листка – зеленый стикер, а слева – ручка. Все это, видимо, предназначалось Пане. Он подошел к столу и прочитал надпись на густо исписанном стикере:

«Странный ты сегодня. Я подумал, может, один хочешь побыть. Здесь заявление об увольнении по собств. жел. Сегодня передам в отд. кадров. По з/п за этот мес. и отпускам разберемся. Коробки знаешь где.

З.Ы: Пропуск оставь на проходной

З.Ы.Ы: Расстанемся друзьями

Денис:»

Паня, не вдаваясь в подробности заявления, поставил подпись там, где было нужно, еще раз посмотрел на мосечку, которую Денис сварганил из последней буквы своего имени и двоеточия, – и пошел на свой этаж собирать вещи.

Панегирик

Образование, карьера, деньги, семья? Да, все это, бесспорно, было важно и даже нужно Пяне. Но все оно выполняется и достигается каждым порядочным гражданином безусловно, вне зависимости от кривизны той мины, с которой он едет утром в метро. Эта кривизна значительна лишь когда-то под конец этого проклятого дня, а еще лучше – под конец этой паршивой недели, когда все дела уже утрясены, сделки заключены, а нервные клетки не восстанавливаются, можно, наконец, расслабиться и просто посидеть за кружечкой чего-нибудь и где-нибудь, а с кем конкретно – не так уж важно. Ведь главное в людях – не доброта и честность, как врут глиняные таблички, датируемые вместе с процентами рейтинга ранним вконтосиком – важнее пара здоровых ушей и с пониманием кивающая голова. Все это были смыслы, которыми можно было прикрываться разве что в разговорах с бабушкой, которая позванивала с периодичностью в пару месяцев, чтобы убедиться, что Пяня не сошел с верного пути, или в беглом отчете перед родителями друзей, перед которыми маргиналом, пускай и красиво говорящим, тоже лучше было не показываться. С двойками, жалобами, ранениями различной тяжести, оборванным и голодным Пяня приходил к маме. И он знал, что таким он может прийти к ней и только к ней.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.